





АЛЕКСАНДР СТЕСИН

ЧАСЫ ПРИЁМА

МОСКВА

2010

Поэтическая серия «Русского Гулливера»

Руководитель проекта Вадим Месяц

Главный редактор серии Андрей Тавров

Оформление серии Валерий Земских

Александр Стесин.

Часы приёма. — М. : «Русский Гулливер»/Центр современной литературы, 2010. — 80 с.

Первый сборник стихотворений русского поэта Александра Стесина, живущего в Нью-Йорке. По словам автора, начиная с этого века он пишет только по-русски (до этого были публикации на английском и французском). Оторванность от языковой метрополии явно уберегла его от всего наносного, формального и, по недоразумению, модного в нынешней России. Близкий к патриарху американского авангарда Роберту Крили, Александр тем не менее выбрал путь в поэзии, основанный на классической просодии, что с некоторых пор подчеркивает внутреннее достоинство пишущего и его способность четко выражать свои мысли и чувства. Великолепно владеющий музыкой русской речи, ориентирующийся в переменчивой западной культуре, Стесин, по мнению Сергея Гандлевского, смог за последние годы перешагнуть через ученичество, к которому относился с завидной серьезностью, и его «задатки обернулись лирическим дарованием».

Бахыт Кенжеев считает, что «безупречный и живой язык этого поэта» замешан на «беспримесной любви к нашей родне и старикам», на связи с далеким советским детством, хотя Александр и прожил в Новом Свете в два раза дольше, чем на далекой Родине.

© А. Стесин, 2010

© Русский Гулливер, 2010

© Центр современной литературы, 2010

ISBN 978-5-91627-007-5

ОБ АВТОРЕ

Александр Стесин родился в Москве в 1978 г. С 1990 г. живет в США. В 1999 г. окончил литературный факультет (отделение поэтики) университета Баффало, в 2000 г. — курсы по французской литературе в Сорбонне. Публиковал стихи на английском и французском языках, однако в течение последних десяти лет пишет исключительно по-русски. Стихи, переводы и проза публиковались в журналах «Арион», «Звезда», «Знамя», «Иностранная Литература», «Новый Берег», «Новый Мир», «Новая Юность», «Октябрь» и др. Лауреат международной поэтической премии «Тамиздат» (2007 г.), дипломант поэтического конкурса им. Гумилева «Заблудившийся Трамвай» (2006, 2007). Член редколлегии журнала «Интерпоэзия», куратор серии литературных вечеров «Проект Город». Составил для издательства «Водолей Publishers» антологию «Современная русская поэзия США». Живет в Нью-Йорке.



В последние годы имя Александра Стесина время от времени склонялось в разговорах литературных приятелей-эмигрантов. Поминали его с приятным удивлением: вроде бы, по летам годится нам в сыновья, американец американцем (вывезен родителями чуть ли не в двенадцать лет), а вот ведь, лихо говорит по-русски, знает толк в поэзии, и даже организовал на Манхэттене литературный клуб «Город», где регулярно выступают русские поэты, местные и заезжие, — и вообще славный человек. Так оно все и оказалось при очном знакомстве. Не с ходу (что уже добрый признак), а задним числом, в письме Стесин спросил разрешения прислать свои стихи. Не скрою, это, как и всегда в таких случаях, немного напрягло меня: когда складываются симпатичные отношения, жалко омрачать их лукавством или правдой. Стихи были культурными, хорошей школы, с проблесками хороших задатков — примерно так, по-моему, я на них и отозвался. Ответ на критику мне понравился: в нем не слышно было ноток уязвленного самолюбия, зато звучали интонации достойной выдержки и взрослой готовности к терпеливому долговому труду и совершенствованию — короче говоря, это была речь не мальчика, но мужа.

С три или четыре года назад стихи Александра Стесина приобрели новое качество. Школа и культура отошли на задний план и сделались чем-то само собой разумеющимся, а задатки обернулись лирическим дарованием. Теперь эти стихи хочется рекомендовать всем, кто в принципе неравнодушен к поэзии, — что я и делаю.

Сергей Гандлевский

СТИХИ АЛЕКСАНДРА СТЕСИНА

Скорее флегматик, чем меланхолик, скорее философ, чем пьяница и повеса, скорее русский поэт, чем американский онколог — так набросал бы я портрет Александра Стесина. Правда, справедливо и обратное. Что поделаешь — любимец муз!

Стесину около тридцати; по нынешним временам он стихотворец юный, можно сказать начинающий. Тут бы и разобрать его вирши по косточкам, с надлежащими комплиментами: словарь богат; ритмика разнообразна; рифмы изысканны; окружающий мир обжит, осмыслен и оприходован; окончательный продукт — в высшей степени профессионален.

8

Известно, однако, что совокупность всех этих добродетелей представляет собой условие необходимое (и то не всегда), но уж точно недостаточное для того, чтобы быть поэтом.

«О вещая моя душа, о сердце, полное тревоги, о, как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия!» Симпатичная антитеза между «заботами суетного света» и «широкошумными дубровами», куда бежит поэт, «и звуков, и смятенья полн», с тех пор досконально освоена и обрела черты, которые, может быть, и удивили бы наших классиков. Да, поэт всё безнадежнее раздваивается между временным и вечным — однако сами эти понятия изменились и даже, страшно сказать, началось их взаимопроникновение. Лет пятнадцать тому назад Сергей Гандлевский выступил с концепцией «критического сентиментализма»; термин насуспенный и довольно дурацкий, но скрывающий за собой душемутительные лирические просторы. Если отыскать верный угол зрения — то наше детство, и шире, наше прошлое, вдруг — хотя бы в силу того, что ушло безвозвратно — становится как бы неоспоримой истиной, тем основанием, на котором можно — и даже нужно — строить творчество. Этот подход, при всей его мнимой очевидности, далеко не тривиален. В XIX веке «мятежную» юность, может быть, порою и вспоминали, детство же обычно откидывали за ненадобностью, освобождаясь от

него с такой же радостью, как похмельный пролетариат от своих цепей. Почему «критический»? Да потому, что не дал нам господь набоковского детства, а выдал советское. Но даже советский ребенок, как ни крути, был счастлив, а уж что он там потом осознал насчет отсутствия бананов и свободы печати — дело десятое и, вообще говоря, непоэтическое.

Молодой американский врач Александр Стесин прожил в Новом Свете в два с лишним раза дольше, чем в приснопамятной Стране Советов. Во время перестройки и сопутствовавших ей разнообразных явлений (разрухи, веселого расхищения бывшей социалистической собственности, анекдотов о новых русских и т.д.) он увлекался (если судить по стихам) движением панков и философией. Может быть, поэтому его строки, где речь идет о детстве, куда менее «критичны» и более «сентиментальны», чем у моего поколения. (И слава Богу). Зато в них есть беспримесная любовь — возврат долга к нашей родине и к нашим старикам, которые — если еще живы — нуждаются в ней все больше и больше. Эта любовь, которой мы в юношестве обычно брезгуем, на самом-то деле представляет собой едва ли не высшую в жизни ценность. («...а матушкины слезы — всегда они с тобой...»)

Нравственная опора на советское детство (лишенное, впрочем, любых идеологических примет) у Стесина особенно хороша еще и в силу неодолимого расстояния между этим детством и его нынешней жизнью. Пусть вас не обманывает безупречный и живой язык этого русского поэта. В повседневной жизни он остается молодым американцем (ни в коем случае не эмигрантом, кстати). Слабость это или сила? Уверен, что второе. Великая литература на английском уже три столетия прирастает шедеврами, написанными то ирландцами, то, прости Господи, американцами, то индийцами. Да и у нас было нечто похожее (Искандер, братья Ибрагимбековы, Олжас Сулейменов; в более позднее время — Сухбат Афлатуни и Шамшад Абдуллаев). Думается, что русской литературе только на пользу пойдет расширение горизонтов, когда о стране, традиционно вызывающей в России то любовь, то зависть, то ненависть, будет писать поэт, чувствующий себя в Америке дома, спокойно использующий «домашние» слова русского языка, то есть называющий ее широкие улицы «проспектами», а тряпки из бутика — «фирмой». Иными словами, воспринимающий ее жителей как соотечественников, а не иностранцев. Приведу всего один пример упомянутого расширения горизонтов. Саша Стесин по происхождению еврей, что и упоминается два-три раза в этой книге. Оно, конечно, бывало в поэзии русской,

однако же в лучшем случае — по выражению того же Набокова — «с зябкой усмешкой принудительного доброхотства». Там, где Стесин касается этой темы, он, как и должно быть, никак не нагружает ни себя, ни читателя — и тут есть чему поучиться, есть где догонять и перегонять Америку.

Отличная, глубокая, грустная без отчаяния, вдумчивая без занудства книга, исполненная осторожной, но подлинной любви к миру и населяющим его живым душам.

Бахыт Кенжеев

I

2001-2005



Памяти Роберта Крили

Дождь пройдет, не истопчет травы,
не испортит асфальтовой кожи.
Календарный листок оторви,
за ночь вырастет точно такой же.

Город Баффало. Некий мотель
малозвездочный, но с колоритом.
То не собственной смерти модель,
даже если нарочно умри там.

То для собственной жизни листки;
счет под дверью, прислугой просунут;
чуткий сон той, с которой близки,
за бугром неразобранных сумок.

Пусть протянется связь, не видна;
быстрый дождь простучит, как наборщик.
Даже если он, как из ведра,
а итог — в полстраницы, не больше.

Или если, как речь, и першит
тишина, катаральное нечто,
будто голос к гортани пришит.
А строка оттого бесконечна,

что каретку сдвигать не с руки,
разговор продолжая заглазный.
Смерть, как имя в начале строки —
нарицательное, но с заглавной.

Я впишусь в эту осень, к стене прислонившись спиной.
Это время — река, где непарных ботинок галеры
по теченью плывут. И слышны из ближайшей пивной
фортепьянные опусы в темпе домашней аллегры.

Я впишусь в этот рыжий кирпич и с изнанки моста
меловые графити, чумных басквиатов творенья,
и в общагу, где будка консьержки уж год, как пуста,
но жильцы до сих пор предъявляют удостоверенья.

Здесь на койке больничной кончается некто, и свет
упрощается в нем, перевернутым кажется днищем.
И открыты все учрежденья. И в желтой листве
сокращенное солнце восходит над парковым нищим.

Я в графе распишусь. С белой койки мертвец поглядит
в поднесенное зеркальце, и заведут хоровую
та консьержка пропавшая и этот нищий, к груди
прижимающий мокрого пса, точно грелку живую.

Когда причаливают лодку харонову
к крутому берегу Восточной реки,
и грузят ту или иную херовину,
бычки за уши заложив, моряки,
психоделичный дядя, спешившись с велика,
с другого берега им машет рукой
и смотрит, как выносят шлюпки из эллинга.
И густо фабрики дымят за рекой.

Сентябрьским утром взгляд, от ветра слезящийся,
он устремит туда, где пристань и шлюз,
и напевает не лишенный изящества,
еще с Вудстока им запомненный блюз

о том, как много нужно этого самого
для просветленья в мозгах, а для души
одна любовь нужна и музыка, заново
в ушах звенящая, и горсть анаши.

Так напевает он, и в образе Хендрикса
уже является Харон мужику.
В преддверье ада речка движется, пенится,
любовь и музыка стоят начеку.

Одноклассник Джеф Б., самопровозглашенный битник,
растаман, анархист и толкатель пустых речей,
обижавшийся на все шутки, кроме обидных,
трудный сын, но любимчик в еврейской семье врачей,

пишет письма домой на манер оссианских песен:
бесконечная сага его походов с одним
famous poet from Russia по имени А. М. Стесин.
Впрочем, возможно, это лишь псевдоним.

*Вот уже третий год живут они, изучая
священный Танах, созерцая прекрасный вид
из окна общежития в Хайфе. За чашкой чая
А. М. Стесин пытается переводить на иврит
русских классиков...*

Ради покоя родителей, что ли,
эта странная байка придумывается взахлеб
бедным Джефом, с которым поссорились еще в школе
и с тех пор не видались.

Дойдя до вопросов в лоб,
где ты был и зачем, чем намерен заняться дальше,
забредают в тупик разговоры на чистоту.
Где мы были и где — в мягкой форме родным преподашь ли —
предстоит оказаться, ощупывая пустоту.

Где, болея умом, из палаты в районном дурдоме
пишет письма один, принимает на веру другой
бодрийаровы сны, правду-Матрицу жизни долдоня.
Это только фасад, декорации тесной грядой.

Мы еще приспособимся с жизнью текущей сладить,
оправдаем надежды интеллигентных семей.
На прожиточный — с миру по нитке. Пейзаж на слайде,
где газон зеленой и участок неба синей,

как в клиническом воображенье дружка-экстремиста,
где гуляет мое альтер-эго в шаббатской кипе,
до последней минуты, когда под откос устремится
не весь поезд, а лишь отведенное нам купе.

ПАНК-РОК

За домом — клен, за кленом — насыпь,
за насыпью — такой же дом.
Когда мне стукнуло пятнадцать,
на торт и свечи в доме том
сошлись два гостя — я и мама.
И — не сидеть же в тишине —
случайная телепрограмма
плела нам байки о войне.

«Ком а ля гер,» с гортанным рыком
невидимый рассказчик пел.
Наутро все еще утыкан
свечами торт мой.

В штате Пенн —
сильвания отец работал,
раз в месяц приезжал домой.
Я ждал: под козырьком капота
исчезнем на день с глаз долой.

Пар выйдет, охладится то, что
шурует поршнями внутри.
Туман рассеется, так точно.
Сейчас рассеется, смотри.

И станет видно: в доме старом,
в кирпичном «проджекте» окно.
И сквот, где я терзал гитару
и слушателя заодно.
Тот слушатель на «crazy Russian»
полюбоваться ходит в парк,
а ты ему, что жизнь — параша,
визжишь, как настоящий панк.

А в понедельник утром в школу
меня автобус отвозил.
Очкарик, неуклюж и скован,
я дрейфил пасмурных верзил

в футбольных пестрых униформах,
лишь тихой девочке одной
поведал о своем бесспорном
таланте рокера.

Сплошной
оградой кленов краснолистных
провинция обнесена.
Гитара в гараже пылится.
Приходит вечер. У окна
застыла в ожиданье мама
с кондитерским подарком мне.
Бубнит, бубнит телепрограмма,
мелькает где-то в глубине.

В джинсах-шароварах, в кофте с капюшоном,
с рюкзаком в заплатках на спине,
выйдя из панк-скваота, с пафосом тяжелым
рисовать графити на стене.

На дверях продмага, на табличке «Welcome»
ставить крест фломастером лихим,
от себя добавив снизу шрифтом мелким
анархистский лозунг или гимн.

Через две недели из психушки выйдет
легендарный, в общем, гитарист
с блоком старых песен в измененном виде
и татуировкой “Черный Принц”.

Он читал когда-то пару умных книжек,
плюс — про хари-кришнов ерунду.
Пояс брюк болтался ягодицы ниже;
выше крыш парил свободный дух.

Через две недели мы пойдем дворами
(подтяни штаны, фломастер смой!)
к хари-хари-кришне, хари-хари-раме,
незнакомой улицей — домой.

Целлофановый куль, как упавшее облако,
юго-западный ветер поднимет с земли.
Изучая приметы дрожащего облика,
неприглядным Нарциссом над лужей замри.

Вот летит грузовик, след печатая вафельный;
паутиной осенней сквозит естество.
И не прав метафизик, но нет основательных
у природы причин опровергнуть его.

Ибо жил пешеход, что-то слышал и видел он,
пенопластовый крейсер по лужам пускал
в кругосветный круиз. Тонкой ретушью выделен,
на визитках блестел его бодрый оскал.

И куда он пойдет, где толкнет свою исповедь,
бытовую полемику с пеной у рта?
Так уже самого себя хочется выставить
властным жестом за дверь. Только дверь заперта.

Постою на улице, покурю,
пусть в карманах курточки — по нулю,
пусть на убыль в банке локальном счет.
Улица холодная. Что еще?
Медицинских знаний неполный свод.
Риновирус в капсуле. Перевод:
раздают по карточкам сквозняки
продавцы катаров окрест реки.

А река, как сыворотка, к утру.
А звезда вчерашняя — тусклый трут.

Я звезду погасшую докурю,
запущу окурком ее в зарю.
Постою на улице прошлых лет,
вспомню слово детское: пистолет.
Пистолетик, ласточка на катке,
на коньке, скрежещущем по реке.

А река, как наволочка, к утру.
Я не помню, где и когда умру.

В честь кого-то названа улица,
не Улисса, так хоть Маргулиса,
гражданина в сереньком котелке,
с удочкой спускавшегося к реке.

А река, простужена на ветру,
не дождется суженого к утру.

За хорошее поведение
год за годом на день рожденья
неврастеник дядя Кирилл
книжку толстую мне дарил —
в темно-синей обложке с медным
ликом Барда, зело надменным,
«внемли, сыне, моим речам»,
говорившим мне по ночам.

И смеялся дядя, приблизив
взгляд в очках, качал головой:
«Ваш ребенок — вылитый Изя».
Точно — Изя. Только живой.

Соскребали добавку ложки;
к нежным праздникам вкус привит.
Но глядел в пустоту с обложки
непрочитанный мной пиит,
будто знал, что пора на выход.
В мир и в люди пора. Вовне.
Наугад отличать живых от
оживающих в каждом сне,
где «катарсис» сродни «катару».
В слове «адрес» есть корень «ад».
В будний день сдают стеклотару
ветераны всех илиад.

О. Мексиной

Зашкурит ветер суховейный
ночное небо добела.
От португальского портвейна
весь вечер голова светла.
А с юга облаком косматым
летит над каменной грядой
не то Осама с автоматом,
не то Хоттабыч молодой.

Блажен, кто мыслит скрупулезно.
Блажен, кто портит общий фон,
кантуясь в скверике морозном,
где по субботам марафон.
И если каждому — по вере
за выслугу недолгих лет,
мы остаемся в этом сквере,
как тот философ без штиблет.
Как тот, присевший на поребрик
с газетной вырезкой в руке,
пока бравурный марш колеблет
отрепья флагов вдалеке.

ДВЕ ВАРИАЦИИ

1.

Если выключить все, что есть, то белым-бело
опадает зима по кренящейся вертикали.
Если некогда завтрак съесть, то берем в бюро,
из среды обитанья с кульком в руке вытекаая.

Если быстро закрыть глаза, чтоб экран возник,
то вниманью будет представлен тот же «Солярис»
и дискуссия после просмотра. Лучше без них.
Без повторных сеансов. Лучше б не засорялось...

Лучше тьма и работа в больнице, куда, разбит,
в пять утра поплетусь препарат вводить внутривенно.
Где у входа бессонная Эльба семейный быт
обсуждает с кем-то из близких, кого не видно.

И толпятся невидимо те, кого под конец
ей вернул океан Альцгеймер, как будто и вправду
ничего по ту сторону, только кольцо колец.
Двор, скамейки. Зима, присыпающая ограду.

2.

Не рабочий мой пост, а иной лазарет старинный,
о котором, как сказано выше, не нам судить.
И войдет в палату главврач со свитой стерильной
и предложит больничную койку освободить.

Но больной, кто бы ни был, выписываться не хочет,
госпитальный насилу выхлопотав покой.
Пусть посмотрят еще, пусть подержат меня, бормочет,
на пожарный случай хотя бы денек-другой.

Пусть минует дневной обход с бородатым в центре.
И, не в смысле последнем, а просто — бросая в сон,
пусть идет себе снег на фоне гарлемской церкви.
Снег на колокол падает, не раздается звон.

Дверь, прилагательную к косяку,
осуществлю, на себя дернув ручку.
Лада, овчарка, лежит начеку
рядом с той «Ладой», что брали в рассрочку.

Дачного неба узорчатый щит.
Ищет Медведицу взгляд мой очковый.
Вижу: в шиповнике ветер трещит
опытным сварщиком тьмы светлячковой.

Где бессемейный сосед, потеснен,
первый этаж уступал нам в аренду,
лампа, похожая на патиссон,
каждую ночь освещала веранду.

Свет перезревший зажгу. Постелю.
Жизнь, как во сне, совпадет с тем участком.
Как, пятернею прижавшись к стеклу,
вдруг совпадаешь с чужим отпечатком.

Средь невымытых вилок и тарелок
циферблат находишь наугад.
Шесть часов. Вечерний циркуль стрелок,
тикая, садится на шпагат.

Время сникнуть, время сгинуть вовсе,
свой обед, не разогревши, съесть
время есть, и в гусеничном ворсе
пледа мерзнуть — тоже время есть.

Но не время у лихого беса
философской внятности просить,
потому что жизнь — не только бегство,
потому что стоит погасить
искру, как опять по коридорам
дед-уборщик примется мести
пепел сигарет твоих, в котором
вряд ли Феникс вздумает взрасти.

Так давай же делить пополам
с двух сторон непрерывной витрины
эту ночь, эту речь, этот хлам,
даже этот горох под периной;
даже ценник, каким манекен
шегольнет, как нагрудной медалью;
даже если не выдумать, с кем
разделить этот воздух миндальный.

И ни рая, ни ада в конце
моциона по улице длинной.
Только музыка — сольный концерт
для мобильника. Только былинный
пересказ: как весна далека,
как в снега первопуток протоптан.
Как расходится небо с лотка:
с детства — в розницу, к зрелости — оптом.

Без песен, ибо музыка сильнее
поэзии и упраздняет слог,
я подпишусь под этой ахинеей,
без красных строчек сочиню пролог.

Задумал эпос нации отсталой,
но вместо «Калевалы» за окном
лишь талый снег прочелся, сумрак талый,
подчеркнутый дорожным полотном.

И физкультурник, что бежит под плеер
с такою верой в жизнь и правоту,
как будто лейкопластырем заклеил
навек ахиллесову пятаю.

Забудь припев, смени наличие смысла
на распорядок слов, бег вдоль шоссе —
на тренажер, чтоб никуда не смылся
главный герой, холерик подшофе.

Ибо, куда ни двинь, одна дорога
бежит, покуда сам бежишь по ней
в обратном направлении от порога,
от детских дней и от недетских дней.

Это так из яичницы желтый глаз
вытекает на сковороде.
Это просто конфорочный вспыхнул газ.
В умывальнике, в ржавой воде
две руки отразились и мыла запас.
Или велосипедный сверчок
умолкает в прихожей, и в тишь, как в паз,
попадает замочный щелчок.

Это кто-то выходит из темноты,
в коридорно-квартирном аду
жметя к стенке с эстампом гогеновским: «Ты
хочешь, чтоб я ушла — я уйду.»

Это чувств пятерней в промежутке одном
шарит время, в дому, где нас нет,
гаснет свет. И чернеет к весне за окном
хрусткой яблочной мякотью снег,
будто скоро займет этот номер пустой
кто-то новый, с двери сняв печать,
и начнется с постскриптума рифмы простой
все, что поздно сначала начать.

Дед прошел до Берлина войну
у мартеновской топки в Сибири,
без оркестра вернулся в страну,
где победные марши трубили.

В новый век производственных льгот
вышел улицей Кто-то-там-града
и катал на плечах каждый год
мою маму во время парада.

Все, что было по справкам потом,
как и то, что действительно было,
лишь тире, через время понтон.
Не спасло, но убить не убило.

Лишь игрушечный полк прочесал
кабинет с нежилым интерьером,
где гнездилась кукушка в часах
и, разбужен соседским терьером,

по инерции вздрагивал дед,
опустивший газетные складки
и уснувший, как был, нераздет,
своим старческим сном без оглядки.

НЕКРОЛОГ

В девятьсот тридцатом начинавший,
до двухтысячного дотянувший,
в рифму что-то перед сном читавший,
в счетоводных книжках утонувший.

Если что и вспомню, — строчки беглой
проговор: читавший не ошибся.
Не мучнистой бабочкою белой,
к свету прибулавленной, осыпья.

А бесслезной надписью возникни
на плите, недалеко от дома.
ФИО и чин, как на визитке.
Даты жизни, как часы приема.

Просыпается страх, и глаза велики
у глядящего страху в глаза.
Линзой зренье для четкости заволоки;
линзы нет, подойдет и слеза.

Обращаем утекшую воду в вино,
а карманную мелочь — в вино.
«Я один и тебя оставляю одну,
это значит: с тобой мы — одно», —

добормочет шарманка в вокзальном тепле.
В мыльной пьесе ружье довисит.
Видишь, как провожающих много в толпе,
знать, встречающих тут дефицит.

Знать, не время встречать, вспоминать начинать,
а пора, до развилки дожив,
как бутылку письмом, будний день начинать
длинным перечнем станций чужих.

ИРЛАНТИДА

На ветру сутулится кипарис
в уголке зеленой, как змий, страны.
К морю вьется улица. Гитарист
стряхивает музыку со струны.

Отхлебнув и пришлых обматерив,
он поет про канувший материк,
и звучит тем краше здесь этот миф,
что рукой подать до Столпов самих.

И звучит припев, обращаясь в тишь:
*На волнах, на суше ли — всё одно —
пока не потонешь, не ощутишь
под ногами почвы. Не встать на дно*

И спасатель с берега не зовет
там, где, эволюции вопреки,
превращаясь в точку, пловец плывет
за Столпы как будто бы, за буйки.

Так наступают времена глагола «быть»,
чей точный смысл во мне не углубить.
Ночь падает, как тень того, что позади.
Ни слез сегодня, ни тревог. Сядь посиди.

На кухне сядь . Ни слез, ни ссор. Побудь одна,
пока за дверь выносит сор почти родня
(не по рождению, однако по жилью),
вьетнамец Лу с женой вьетнамкой, тоже Лу.

Целебный в яшмовом горшке рос корнеплод.
Хор лютен дребезжал в башке под Новый Год.
Далеких родственников ждали и, увы,
они приехали. Все семьи таковы.

В течение жизни обмакнем недолгий взгляд.
Дожди и люди за окном. Завод и склад.
Свет без прогалин и глагол, чьи времена
не смерть спрягает ли, и будет ли она,

как вид экзамена, как то, что рифмовать,
любя всех заново, чтоб снова ревновать
тебя к какому-то козлу на шевроле,
себя — к тебе, вьетнамца Лу — к сырой земле.

Вспомнить проникшего света каемку
по окончанью простуды,
тенью сползающие на клеенку
контуры пыльной посуды,

шум во дворе, где табличка висела
с просьбой держать его чистым;
дворничиху (из квартиры, что слева)
с маленьким сыном-аутистом,

с тем, у которого мяч баскетбольный
я отнимал «на проверку»;
как объясняли: не видишь, он болен?
не приставай к человеку.

Вспомнить поминки, где рюмку и слово
фирмы держал представитель.
Похороны получились на славу —
жалко, покойник не видел.

Гости прощаются, как на вокзале,
тушат в прихожей окурки.
Хочется, чтоб анекдот рассказали.
Мерзнется в замшевой куртке.

Свет, зажигаясь за дверью, не будит
то, что лежит вроде гири.
Что мне с того, что, когда нас не будет,
кто-нибудь будут другие?

Когда, спустив последнюю деньгу,
я выйду в город с фигою в кармане,
те, перед кем был столько лет в долгу,
помашут шляпами, как в том романе.

Балончик гроыхнет на пустыре —
в другом романе, где-нибудь в начале,
где бюст вождя вознесся, постарев
по недосмотру скульптора ль, врача ли.

Гирлянды электричек на мостах.
Собачий выгул в меченых местах.
Парк или сквер. Скамейки для ночевки.
И вышних сфер план крупный, но нечеткий.

Вот темный зал, где пять раз в день — кино.
Вот на стоянке чинят развалюху.
Вот речь о том, что время — деньги, но
где захотят такую брать валюту?

Нет ничего, и все же что-то есть,
даром карман оттягивает дуля.
Есть время покурить и место сесть,
пока мудак, который на ходулях,

пугает впечатлительных детей.
Есть место встать под громкоговоритель,
отбросив тень туда, откуда тень
забрал другой, но равноценный зритель.

И есть еще устройство, чтобы в дым
лед превращался. Покрываясь дымкой,
плывет проспект, и тротуарный мим
вдогонку машет шапкой-невидимкой.

ДВЕ КОЛЫБЕЛЬНЫХ

1.

В усеченном занавескою
зазеркалье — дежа вю —
в доказательство невеское
сновиденья, что живу,
тишь, как маятник, качается,
ищет слово интернет.
Нету повода печалиться,
да и радоваться — нет.

Только белым, пар ли, парус ли,
в окнах высветлена тьма;
сквозь дождей густые заросли
в мокром шелесте — дома.
Только наледь темно-сизая,
только в ходиках «дин-дон» —
отзвук времени, нанизанный
на упругий камертон.

37

2.

Примешь таблетку, ночь коротка.
В кузове спичечного коробка
что-то вещает транзистор.
Гулom машинным день промелькнул,
шелестом шинным тьму промокнул,
в темном стекле отразился.

Время ложиться на бок, и на
переучет в продолжение сна,
точно окошки сберкасы,
очи зашторить. Окончен прием.
Очередь дней на свету, и при нем —
все, чему время смеркаться.

Что от текущей жизни хотел?
Как понимать безусловный предел?
Длящийся проблеск от чирка
в комнате. В тесном кругу бытия
замкнут субъект, априорное «я»
в мире, как в бублике дырка.

Сяо

Птицы летят над Хутонгом по весне
в рай, где кормушки прилажены к деревьям.
Что-то, что было с тобой и мной во сне,
сон взял у спящего, пользуясь доверьем.

Хлопотно двигают мебель за стеной.
Тумбочек или сервантов рокировка.
Давний портрет, повернувшийся спиной.
Вместо затылка — бумага, датировка.

Что-то обещанное тебе забыл —
вряд ли во сне. Уж скорей в гостях по пьяни.
Стыд возвращенья, похмельной прозы пыл.
Крыши Хутонга — уже на заднем плане.

38

Но тем старательней выверен пунктир
каждой детали, чем дальше друг от друга
и безвозвратней к зиме ведут пути
птиц и людей, в небо — клином, в воду — кругом.

О том, что, когда будет поздно, пойму,
о склонностях черт-те к чему,
прогнозы, едва постижимы уму,
тирады в еврейском доме
припомню однажды, когда отлучусь
туда, где не видно ни зги;
и нет больше тех, что несли эту чушь
и все-таки не донесли.

Побитые жизнью и смертью плоды
с семейного древа, одни
по ведомству страхов, предчувствий беды,
другие — с подачи родни,
попадали в землю, чтоб в ней прорасти
участком в две-три сотых га,
и я здесь росток; мне не видно пути
в трех соснах под знаком «тайга».

Нет смысла потрепанный атлас листать
с цветком-осьминогом в углу.
Летальный исход не научит летать.
Пред собственным страхом в долгу,
из дома уходишь. Тропа до реки
петляет в предместье глухом.
И сосны на синих холмах далеки
настолько, что кажутся мхом.

12.09.92

Вспыхивал очаг
трубочный и озарял сознание.
Улица в лучах —
блеск мошениый, чешуя сазанья.

На дворе трава,
симбиоз газона и бурьяна.
И в кульке трава —
для вечерней встречи «без баяна».

И подтек от той
краткой встречи с пролетариатом.
И гремел пустой
тарой транспорт, пролетая рядом.

И пора домой.
Траурное помню освещенье.
Мамин вздох: «умой
хоть лицо». На тумбе — извещенье.

На траве — в дрова,
не прочтешь никак... Бессилья опыт.
Всё — былье, трава
ниже год от года, тише омут.

Узнавай солнца оттиск крестовый
на окне. И окна отворот.
Двор. Обугленность ветки костровой —
вроде инея наоборот.

На другом конце света родные
люди, выросшие, чтобы стать,
кем положено стать, а отныне
осторожно растущие вспять.

Все какому-то вслед эшелону
машет издали речь не о том;
все темней, подступая к жилому,
дня декабрьского бежевый тон.

Там барочная штора укрыла
вид на столик с ночным порошком,
с недочитанной книжкой, двукрыло
распластавшейся вверх корешком.

К изголовью любви изначальной
речь протянется вместо руки
и предмет опрокинет случайный
и не сможет собрать черепки.

ЧАСТУШЕЧНОЕ

П. Пугачу

Видишь, мчится колесница,
надвигается прогресс.
Но такое, что не снится,
прочит электрофорез.

Се — наследственность, хромая,
довела до точки нас,
как сказал, тфилин снимаю,
тот библейский ашкеназ.

Во саду — черешня-вишня,
в огороде — бузина,
в нефтяном Техасе вышка —
среди кактусов одна.

На краю земли палатки
расставляет Голливуд.
В Польшу двинешь — там поляки,
паны с панками, живут.

Глянь в подзорную, гадая,
где та Родина, куда
человек идет годами,
но вразнос идут года.

В тропиках — ризта и денге,
в небе — райский исполком,
в нефтяном Техасе — деньги.
Так и жили испокон.

Се — не Родина, но где-то.
Все пути ведут домой,
как сказал питомец гетто,
небиблейский предок мой.

Видишь, доктор едет, едет,
свой везет нам порошок
пожилой учтивый медик.
Ну, давай на посошок.

Как согласный отзвук и гласный звук
из одной фонетики, как из двух
населенных пунктов — в задаче для
младших классов — мчатся два жигуля,
потекут друг к другу когда-нибудь
моя жизнь и смерть моя, двинут в путь,
чтоб внезапно встретиться в точке Икс,
где течет-не движется ровный Стикс.

После всех пробегов на сотни миль
и таких пробелов, что свет не мил,
понимают, сблизившись, полюса:
есть одна лишь встречная полоса.

И прибавит газу одна из двух.
И пройдет мороз, перехватит дух,
точно в классе, где у доски дрожать,
про s, v и t что-то там решать,
и стоишь, оглядываясь на класс,
но глазам не видно ответных глаз.

И уже задача, как сон, видна,
и уже судачат клаксоны, на
полных v сблизаясь — s, t дробя,
и уже не знаешь, что нет тебя.

REUNION

В пригороде, где пустует твой пьедестал;
где однокашник с фамилией вроде Махно,
сетовавший, что по жизни никем не стал,
стал тем, кого не стало, шагнув в окно;
там за окном, где, как лайнер, трубил завод
и откликался изредка товарняк,
вновь оказаться в одну из снежных суббот.
В поочередных субботах и трудоднях
время прошло. Счетчик внутренний отключить.
Вновь убедиться: всё на своих местах.
Там, где окно от зеркала не отличить,
улицей, домом, всем, что знакомо, став,
негде предстать пред отсутствием. Разве что —
в срывах и крайностях, высвеченных бедой.
Но отойти... Оказавшись на Рождество
где-то в гостях, где молитву перед едой
хором читает набожная семья,
текста не знать, но, подстраиваясь, мычать;
сосредоточенно жмурясь, искать себя
в некоем Целом, не знаящем, что мы — часть.

ИЗ РОБЕРТА КРИЛИ

1. EN FAMILLE

Я, одинок, как облако, блуждал,
Казалось, я из виду потерял
тех, с кем пришел. Отец и мать, сестра
и братья. Плоть от плоти.

И вот не стало рядом никого.
Лишь в зеркале мое лицо.
Единственное на крючке пальто.
Кровать застелена. Куда они ушли?

...

В одиночку тебе
не уйти далеко. Там темно.
Слишком долго идти.
Любая собака знает.

45

Это он, тот, кто любит нас больше всех.
Или думается, что любит. В потемках души.
Поспокойнее. Осторожней езжай, не спеши.
Так держать. Мы вовсе не сбились с курса.

...

Мы здесь, куда же нам еще идти?
Мы принимаем все, что есть, как есть.
Нам сказано — мы знаем. Все пути
ведут сюда, всем хватит места здесь.

Нельзя отстать, нельзя уйти вперед.
Мы уступаем место в свой черед.
Нам снится небо лестницей в веках.
Мы видим звезды, мысля, где и как.

...

Рассказали ли мы тебе все, что хотел ты знать?
Неужели так скоро пора уже уходить?
Было ли что-то, чего ты не смог забыть?
Разве того, что ты понял, хватит на всех?

Неужели мудрость — только пустое слово,
а старость — не больше, чем выпавшее звено?
Самоценна ли человеческая основа?
Счастье. Вот здесь — оно?

2. ПАМЯТЬ

Где-то сейчас Аллен Гинсберг
вспоминает: однажды матери
приснился Бог, *старик*, говорит она,
живет за рекой в Нью-Джерси
в городке Палисейдс, забытый, побитый,
в какой-то хибаре, еле сводя концы
с концами. Мать спрашивает старика:
как ты мог позволить, чтобы наш мир
дошел до такого, и все, что он может
ей ответить — *я старался, как мог.*
Он выглядит неухоженным, говорит она Аллену,
ходит в зассанном нижнем белье. Больно
слышать, что Бог справляется не лучше, чем
любой из нас — просто еще один
безмянный старик где-нибудь на скамейке или
в кресле-качалке. Помню, один уролог
объяснял мне, как, поссавши, стряхнуть мочу:
надавить двумя пальцами сначала в паху,
в области предстательной железы, потом ближе
к кончику члена, чтобы последние капли
угодили в толчок, а не на одежду.
Все же трудно назвать это идеальным
решением. Как быть в общественном туалете?
Примут за рукоблудие. С другой стороны,
что же делать, чтобы не выползть
оттуда, расставив ноги, с позорным пятном,
проступающим под ширинкой? Не надо
убеждать меня, будто старость может быть легкой
для кого бы то ни было. *На Золотом Пруду* —
идиллический образ: озеро, пенсионеры
в штате Нью-Хэмпшир, но это неправда, все
это неправда. Прошу, не ссылайте тех,
кто вам дорог, в Дом Престарелых. Они
умрут. Там только болеют. Иначе
зачем бы им там находиться? Я
не знаю, что будет дальше, что может
со мной случиться... Обломки того,

что казалось мной, выглядят все мрачнее,
как вершины гор, которые видел когда-то,
едва различимы в сгущающемся тумане.
Надо как-то встряхнуться, может быть, надо
несколько раз отжаться, выйти из дома,
заглянуть к соседям, которых не видел годами.

II
2006-2009



В день последний, если знать наперед,
что последний, посмотреть — проберет,
в холод бросит и — уже отлегло:
не выдумывай, еще далеко.

Вот порог, а вот невидимый Бог.
Тротуар, ларек, осколок, клубок.
Станционного разгон полотна.
Все предвидено, но воля дана.

Полотна разгон. Поездки к одной
чудо-деве за рекой ледяной.
Начинается недолгая связь,
отрицая день последний, резвясь.

В отдаленье ли, где память слаба,
в тесной близости ль, где речь тяжела,
осторожно, точно ветки, слова
раздвигает и глядит — тишина.

Ты раскрой над нами небо, как зонт.
Растяни на сорок восемь часов
имманентный бытия горизонт,
восприятия изнаночный шов.

Все, что вспомню — хлам жилищный — проверь,
где стоял журнальный столик, одет
под обеденный, а рядом (правей)
на трюмо — ее отец или дед,

некто, выбывший из жизни земной,
в круглый ноль свой капитал обратив;
с фотографии следивший за мной,
притворяясь, что глядит в объектив.

Только во сне ключевой материал закрепляется,
весь поименный, представленный, как на суде,
в свете ином — этот свет; за детали цепляется
этот не-сущий, но что-то несущий в себе.

Только во сне. Отмети подоплеку идейную,
страха и праха налет, штукатурной пылицы
с лестничной клетки, откуда в квартиру отдельную,
точно в пещеру Платона, въезжают жильцы;

в узком проеме буксуют, пытаюсь рояль внести.
Клацают клавиши перед уходом во тьму.
Это не сон, если нет объективной реальности,
свойства которой противопоставить ему.

Это субстрат, не принявшая форму материя
в недрах жилья, где кончаются «эйдос» и «нус»,
по типовой планировке, в густой темноте ее —
все, что со мной поименно, пока не проснусь.

Когда придет черед попасть
(исчезнуть, говоря честней)
туда, где целым станет часть,
лишившись остальных частей,
всплывут из запасных времен
державный герб и алый стяг,
гитара, сданная в ремонт,
и дядя Коля холостяк.

Он любит дачную «пастель»,
где небо и речная гладь,
и в кресле спит, чтобы постель
с утра не «стлать», не застилать;
заваривает чай и пьет
из чайничка, башку задрав,
и держит деньги в пачке от
«Дуката»: пригляди, минздрав.

Дрейфуют в небе облака,
личинка плавает в вине:
наклонишь в сторону глотка —
она окажется на дне.

Примеришь вещи и слова
к их забыванию, когда
туда, где жили одна,
вернется времени вода —
как в гости, где неясно кто
хозяин... И запомнит гость
небес постельное плато
и наберет водицы в горсть.

А где-то крутится винил,
и вечный Коля, краснолиц,
прощальный тащит сувенир
для тех приезжих «со столиц»,
для тех двоих (рука в руке:
стоят они — отец и мать),
ссужавших медяки реке —
на дно: ни наклонить, ни взять.

Раскрывается целиком,
что разгадывал по частям.
Тянет мартовским холодком.
Длится жизнь твоя, прячась там,

где, по очереди дымя
в одну форточку, жили год,
как те двадцать лет у Дюма.
Есть у времени тайный ход.

Для игравшего наизнос,
для исчезнувшего сиречь,
тесный лаз. Пыль щекочет нос.
Надо тихо совсем сидеть,

как в отцовском чулане, за
цедрой пахнущими пальто.
И поверить никак нельзя,
что не ищет тебя никто.

Смолкнет хор, с которым сольюсь
в новостройке, где все свои.
Будет наш счастливый союз,
как «и краткое» вместо «и».

Раскрывается, как бутон,
внутри себя направленный глаз;
четко видит стены бетон
или времени тесный лаз.

Или двор, где росли, как цех
игровой: в чижа, в домино.
В черный ящик играть в конце,
уповать на двойное дно.

*Чтоб вера пришла оттуда,
направленная туда.*

А. Леонтьев

1.

Вот «книжный полк»: Декарта, Канта, Конта
вся критика, внеклассный список весь,
не взятый в толк. Вот человек: о ком-то,
далеком-близком, мыслящая вещь.

О ком? Вот, из знакомых черт сложившись,
оказывается лицо ничьим.

В тираж выходит диалог, лишившись
посредника. За чтением ночным,

где вперемешку синтез и анализ,
уснет душа. И если за стеной
взаправду будет мир иной, она — лишь
оказия для писем в мир иной.

55

Чеши, курьерша, к адресатам мнимым,
вступай в причинно-следственную связь
с необходимосущим Анонимом,
хоть так и неизвестно, кто из вас

причина, а кто следствие. Заполни
весь промежуток между «Он» и «Ты».
Вот невозможность целого. Запомни
родные по отдельности черты.

2.

Килевая качка веры, за предел
пониманья уплывающей, как судно.
Я на судно отплывавшее глядел,
и поверилось в том плане, что абсурдно.

Видишь, зыбью удлиняются огни,
желтый свет домов, чьи окна интравертны.

Охвати пространство взглядом. Мы одни,
то бишь «мы» — в числе единственном, наверно.

То к закату (расстояние — плевок)
ветерком относит лодку или ветку.
То пустая конволютка проплывет
сроком годности, давно истекшим, кверху.

То картина моментальная, по шву
расходясь, некрупный дар акына будит.
Как вместить свое огромное «живу»
в то, что есть, и вычесть из того, что будет?

Я глаза закрою, на глазное дно
утяну тот пирс и судно, где на вахте
человек стоит , дежурит. Мы — одно,
то бишь — вера, то бишь то, чего не хватит,

чтобы запросто однажды выйти вон...
Затрещавшее по швам — скрепить застежкой.
В крупный план войти на фоне этих волн,
размывающих срок годности истекший.

БАЙКАЛ

1.

Траверсом по Саянам ползет чабрец.
Держится за живое саган-дайля.
Время не хочет знать, что его в обрез,
между тобой и мною себя деля.

Так вот, вступив в пору смертности, человек
на год вперед намечает себе дела;
графики составляет на целый век.
Дай ему точку опоры, саган-дайля.

Здесь зацеплюсь за выемку, подтянусь.
Абразионный берег, уступ-карниз.
Точечной тучей чернеет над падью гнус.
Страх высоты — посмотреть заставляет вниз.

Трудно поверить: метров от силы сто.
Что-то лежит там камнем, ничком, пластом.
Кажется точкой что-то большое, что
точкой и вправду делается потом.

57

2.

Где лишайник и мох, где трясина,
сопки, ельники, озеро с ряскою,
прибайкальский участок Транссиба,
глушь освоивший братско-бурятскую,
где поселок, дома с полувнешней
стороны — не поймешь — с полувнутренней.
И поджарый старик, житель здешний,
начиная забег ежеутренний,
входит в кадр семенящей фигурой,
осторожно ступни отрывающей
от земли. И земля черно-бурой
полосой, где клочками трава еще.

И с фонарным еще селенитом
перешеек от дворика к садику,

где на месте бежит, семенит он,
поверяя динамикой статику.

И вокруг ни души, будто только
он и есть, чтоб субъектом единственным
уточнялась действительность, долго
мельгешащая хвойным и лиственным

перелесками (ельник и сопка,
бурелом, обходная тропа, листва),
где течет, торопясь, Ангасолка
и впадает в Байкал, как в беспамятство.

3.

Поезд пройдет в привычном, многовагонном порядке,
ухнет на полустанке
признаком жизни первичным. Вылезешь из палатки.
Что там? Темно, как в танке.

Там — это рядом; справа плещет Байкал, как в черной
комнате проявитель,
где фотоснимок плавал. Жест бытия безотчетный:
где-то я это видел.

Вправо посмотришь, влево, из слепоты попытаюсь
высвободиться, вспомнить
снящееся бесследно, в памяти заплетаясь,
плеском из черных комнат.

Кто-то там ходит, вечен, сумками весь увешан,
путь фонарем означив.
Вспыхнет светоячейка, осветит облик чей-то.
Кто-то, видать, из наших.

Будто сосновый ящик не приняла траншея,
будто они всем миром
здесь, и о предстоящей смерти их знать страшнее,
чем о своей, и мигом

луч к пустоте примерзает, будто уже не снится,
видится беспристрастно,
или душа созерцает собственные границы
на берегу пространства.

Она говорит: «Тяжело, а ему тяжелей», говоря о муже. Они — в ожидание врача в онкологической клинике. «Пожалей нас», причитает. И медсестра, ворча, приносит ему подушку, питье, журнал. Он — восьмидесятитрехлетний. Рак почки. Худой, как жердь, но худей — жена. Он и она — из выживших: тьма, барак в Треблинке или Дахау.

С недоверьем глядят на студента-медика, думают: свой-не свой? Да, говорю, еврей. И тогда галдят, жалуясь на врача с медсестрой. Весной будет ровно шестьдесят лет со дня их женитьбы. Кивает на мужа: «Тогда он был вроде тебя... — и оглядывает меня, — ...но постройней». Верный муж охраняет тыл.

Она говорит: «Мы постились на Йом Киппур даже там... Берегли паек... А в этом году в первый раз в жизни не выдержали. Чересчур...»
Говорит: «Когда он уйдет, я тоже уйду».

Он — вечно мерзнущий; помнящий назубок :
«*Образ Господа виден смертному со спины*, — засыпает, подушку подкладывая под бок, —
Next year in Jerusalem. Все будем спасены».

Вспомню: некто с шестого, выгуливавший с утра
спаниеля Чарли и сигарету Винстон,
все сажавший белый налив и другие сорта
в задней части двора, где пустырь перегноем выстлан.

За три дня до инсульта посадит еще ранет,
соберет в школу дочь.
Бутерброд и мешок со сменкой —
за щекой у портфеля.
Времени больше нет.
Обведи Ф.И.О. аккуратной рамкой посмертной.

Просто память начнется с конца:
в больнице кровать
и каталка с едой, гроыхающая угрюмо.
Непосредственный опыт, обязанный открывать
сходство, смежность, причинность —
чушь, если верить Юму.

60

Просто органы чувств просигналят с привычных вахт,
и в мозгу, где хранится разрозненных фактов груды,
совпадут чей-то облик и смерти безличный факт —
два явления, непроницаемых друг для друга.

Совпадут кое-как, зарифмуются набекрень
в ощущениях данная жизнь и ее концовка.
Чья-то нервность и частые жалобы на мигрень.
Потрошение аптечки, камфора и марганцовка.
Спящий к стенке лицом и тень его, за матрас
завалившаяся.
Образ, ищущий, где продлиться...

...Вспомню: отец вспоминает в тысячный раз,
как меня привезли из роддома.
Отцу под тридцать.
Он боится меня уронить, осторожно кладет,
сообщает маме «похож на тебя», уверен,
что — на него. Улыбается. Время идет.
В детской комнате плещет тюль, синевой проветрен.

Как минимум, те «джингл беллс» в начале,
бар-ресторан, где что-то отмечали,
два праздничных билета на концерт,
со скидкой выделенных от работы...

И елочные те же атрибуты,
рассыпчатый гирляндный блеск — в конце.

В последний день, разезда накануне,
еще приходит почта, никому не
нужна. И начинается провал
с открытки, адресованной обоим,
на сто кусочков измельченной с боем.
Всё каешься, жалеешь, что порвал.

Подумаешь: горячка, просто пена.
Но то, что есть, сведется постепенно
к тому, чего когда-то не учли.

И если Тайна — в нас самих, то это
воображаемый источник света,
но из него — реальные лучи.

Как минимум, сезонная подсветка.
Мельканье фар (по наледи проспекта
лихой таксист в обгон горазд вилять).

Подарок ли, помятый при доставке.
Шарманка «джингл беллс» в сухом остатке.
Привычка, засыпая, оставлять
свободной часть кровати, половину —
твою.

Поближе столик пододвину,
лекарство поищу в пространстве, где
предметам велики их очертанья.
Что познается через вычитанье?
Ключ-дубликат пылится на гвозде.
И наступает утро.

Просыпайся,
надавливая кончиками пальцев
на веки, к переносице ведя,
как будто с поля зрения снимая
нещедрый урожай, в комок сминая
крупницы света с каплями дождя.

ТРИПТИХ

Отцу

1.

То пейзаж, проступив, расплывается, то портрет.
Так смещается фокус: не четче, но многогранней.
Или кто-то фланелевой тряпкой стекло протрет
в темноте, к человеку еще не привыкшей, ранней.

Или ширится страх, из сознания в мир сочась
(закрываю глаза, и нет нас).

Но настенному зеркалу видно, как здесь и сейчас
ты в халате сидишь, как поддерживаешь инертность
телефонных бесед, не вникая в их суть;
держишь чашку в левой руке, а в правую руку
авторучку берешь и вычерчиваешь что-нибудь
на салфетке, плечом к щеке прижимая трубку.

62

И как, договорив, продолжаешь сидеть, следя
за старательным-машинальным рисунком, горбясь.
Полнотой одиночества вытеснен из себя,
весь уходишь в этот рисунок, в образ.

2.

Это что-то из детства. Застолье в кругу родни.
И троюродный дядька, художник, твердит об искусстве.
Говорит, что в друзьях с NN и MM. (Но они
вряд ли знают об этом, скорее всего не в курсе).

Завещает семейству какие-то чертежи,
говорит: «Там есть чему поучиться».
«Обнарудете потом». (В глубине души
лучше нас понимает, что этого не случится).

Или дядька другой, застрочивший на старости лет
мемуары, перевозмогая природную леность.
Но теряется нить, простывает надежный след.
Вдаль петляет бесследность.

Отсылает в глубинку, в оседлые те места,
где на Пасху народ Израиля воспевали,
и мгновенная птица из фотогнезда
вылетала на волю прежде, чем успевали

уместиться в кадр. Долгий список братьев-сестер.
Пять колен родословной, к альбомным листам приставших.
И отец, говорящий: «Вот видишь, и я стал стар.
Некого больше считать за старших...»

3.

Всеми окнами спит дом напротив. Пустых галерей
застекленная тьма. Прокурив этот день допоздна, стой
на балконе. И вниз гляди, сам себе Галилей,
об устройстве природы суди со своей Пизанской.

Просто скверы, дома . На окраинный внешний мир
поглазей сквозь слезу узнаванья.

Ничего позади. Все, что есть, — не дальше трех миль
и знакомо настолько, что спрашивать нет основанья,
есть ли Бог.

Если «есть» — лишь связка, а не предикат,
доказательства нет. Плотно жмутся дома и скверы.
Дай отмашку жильцу, отпусти его протекать
между пальцами, но на расчищенное для веры
обжитое место верни.

Ни над смертью побед,
ни раскрытых тайн. Но душа еще свой завод не
исчерпала; ежеминутен ее побег
из конечного «там» в промежуточное «сегодня»,
в узнаваемость жизни...

От луж восходящий пар,
галерея, балкон. Все, что взглядом сейчас обводим.
Ничего позади. Верит с башни брошенный шар,
что полет его — как самоцель — до конца свободен.

Фотопленка и видеолента,
место встречи, где были с тобой
нам даны лето, осень и лето,
некий город с вечерней толпой.

В баре, тонушем в полубеседах,
заседать. Медь кидать в водоем.
Жить вдвоем. И на велосипедах
по Америке ехать вдвоем.

Там маршрут был намечен нечетко.
Свет в мотеле (нас, видимо, ждут).
В спальном штате стоянка-ночевка.
Жаль, нечетко намечен маршрут.

Страх пустот горожанин подавит.
Местной речью язык заплетит.
С летним небом твой взгляд совпадает —
расширяется до слепоты.

Все «могло быть» подряд примеряешь;
и себя с тем, что было (была),
напоследок в стихах примиряешь.
Пролистай-ка блокнот добела.

До последней размытости трасс под
городком, где, ища водоем,
на себе волочащие транспорт
в лето-осень уходят вдвоем.

Памяти Н.С.

Это живут и отходят ко сну.
В старости двигают кресло
ближе к окну. И садятся к окну
у батареи погреться.

С улицы слышится шелк соловья-
сигнализации. Эхо
звуков ничьих — как отсутствие «я»
у одиночества. «Это
я», в тишине раздаётся, верней
слышится, не раздаваясь,
будто бы тот, кто всегда из дверей
так говорил, раздеваясь,
в темной прихожей оставил висеть
вместе с пальто эту фразу.

И магнитола, которую в сеть
год не включали, не сразу
голос подаст, от звучанья успеет
собственной речи отвыкнуть.
Вслух не сказать, не прочесть нараспев.
Анжамбеманом не выгнать.

Только мгновенное: акт бытия
как распрямленье пружины.
Миг, из которого в жизнь без тебя
вглядываешься при жизни.

На пол спадает ли женский платок,
кофе шипит, убегая.
В детство впадает ли мыслей поток,
пять городов огибая.

Просто квартира, где с детства знаком
говор курящих под утро,
и помещение, как сквозняком,
их разговором продут.

Край, где живут и отходят ко сну
(здесь, на краю балансируй);
где придвигаешь поближе к окну
кресло свое. В бело-синий
смотришь просвет, непостижный уму
и протяженный незримо.
Все придвигаешься ближе к нему,
не сокращая разрыва.

БЛЮЗ НА СЕН-МАРКЕ

Б. Лейви

«Все, что может случиться, случилось уже с другими» —
это надпись на киноафише, реклама фильма.
У ларька стоит нищий с извечным «sir, could you give me...»
Алабамский акцент; свитер драный, хотя и фирма.

Сделай вид, что турист, что не знаешь-де по-английски.
Алабамец икнет и — на чистом русском: «да ёлки,
денег нет похмелиться» и «дорого тут в Нью-Йорке».
Даже склянки, и те дорожают, даже огрызки.

«Вот вчера, — говорит, — вроде было еще нормально».
Объясняет, что «долларов было — на два кармана».
С кем-то там посидели за жизнь. Важных тем касались.
Но закончился пир. И товарищи рассосались.

Всё — в зубах навязший мотив, сюжет стародавний.
Тяготянье поэзии к нищим и их обедам.
У кого это было — «мистерии состраданий»,
про родство всех живых и слиянье субъекта с объектом?

Про единую Волю-судьбу. На просторах карты
незаметен сдвиг: на березовом фоне Визбор
или выговор алабамский, бренчанье кантри.
Все как будто само собой, свободный невыбор.

А по сути — поди разберись. Представить не можешь,
как попал сюда этот субъект, из контекста вырван.
Видно, было зачем, — перебрался ведь за три моря ж...
Где-то был несомненно и этот сюжет обыгран.

Чем закончилась пьянка, не вспомнить (бывало и хуже).
А очнешься с утра — на другом уже континенте.
Поясок часовой затянуть на семь дырок ту же.
Новой жизни искать, на скамеечке коченеть ли.

«Помоги, — говорит, — собрату», хоть не собрат он.
Раздобыть на метро два бакса, попасть на Брайтон.
Заглянуть в одну школу... Там дочка сестры училась.
Разыскать, расспросить, как там что у них получилось...

БУБЕН

1.

До земли раздевается тундра,
до камней, до самой
мерзлоты, где отходит припай.
В снах, навеянных рифмой «домой»,
обретайся, себя обретай,
но добраться до города трудно.

2.

Свет, похожий на снег, всё не тает.
И шаман — в телогрейке мужик —
с пьяным блеском толкает свой спич:
Все свои, нет чужих...
Если ветер гудит, пока спишь,
значит чьи-то следы замечает...

3.

Дочь шамана глядит в обе линзы
мимо тех, кто стоит во дворе.
Две евражки в норе.
Заоконный простор белизны,
светодни-полусны —
по ту сторону детской болезни.

4.

Он про «главных» заводит: нефтяник
и священник, бубнит, пришлый люд
паче климата лют. Но нальют,
чтоб на наш поглазеть колорит,
сам себе говорит...

5.

Ветер с моря на ивы натянет
рябь и зыбь.
Расстояньем уменьшен
горный ряд. Серный пар.
Так пуста эта даль, что близка
отовсюду. И бубен-ярар,
медным звуком блестя,
по-шамански взывая к умершим,
все гремит
(и раскат самолета
сверху — эха взамен).
Все гремит и гремит, чтобы мог
в пустоте, где сдает глазомер,
путь найти человек. Или Бог.
Или — чьи-то следы замело там?

Как ждешь салюта по вечерам,
и время терпит и ветер треплет,
и не седой еще ветеран
Победу помнит... В конце всех реплик
он добавляет частицу «то»;
и личной присказкой-паразитом,
как долговечным сукном — пальто,
латает повесть о пережитом.

«Орленок» с вывинченным седлом
к сиденью жметя в салоне «Волги».
Брелок запрыгает под стеклом,
как поплавок на волнах. И волны
в рабочий полдень доносят весть
до тех, кто слушает, понимает,
как враз меняется все, что есть,
что ничего уже не меняет.

Как душ стрекочет — контрастный для
закалки воли и миокарда,
и, память переселенцев для,
плывут по комнате три аккорда
из бессарабского попури,
ноаптэ, сяра и диминяца.

И как меняешься до поры,
покуда жизнь не начнет меняться
быстрее, чем ты. И тогда, отстав,
себя заимствуешь у названий
забытых мест и — в чужих местах —
у столь отчетливых узнаваний,
как будто найден какой-то след,
«найден-то» в ворохе стариковском,
хотя никто уже двадцать лет
не навещает на Востряковском.

Покидая место, обомри.
И тюки, как тесто, обомни,
чтоб в багажник влезли. Сторожи
неподъемных книжек стеллажи.

Свет под вечер — точный. Дорогой.
За рекой Восточной догорай,
легкий день субботний, доцвети.
Десять лет — с беспечных двадцати —
я тут жил, общаги старожил,
песню думал, кресло сторожил.

Эту песню паузой продли.
Темы детской памяти, родни,
их уходов — обглодал, как мог.
Хватит, проглоти уже комок.
Сокращенье света в октябре —
это не о них, а о тебе.

О прощальном блеске трав и рек.
Воспрятья сползший трафарет.
И любви заботливый расход,
красота, щемящая раз в год,
смешанная с прочностью вины.

От сырого взгляда увильни
на отъездном фоне голых стен,
под прикрытьем водевильных сцен:

погрузили мрачный гардероб
(с распродажи лишних ордеров)
на тележку, — чтоб без лишних трат;
и по улице, где шел парад,
сквозь толпу в свистульках и флажках
волокли, везли, везли свой шкаф.

Без подсказки вспомнить — вроде муть.
И парад проходит, вроде снясь.
И шпаргалку тщишься протянуть
будущему, ищущему связь
между тем, что было и собой,
между этой мутью и судьбой.

ХВИДТА

А.

К обрыву неся, выбивает весло из рук:
мол, весла оставь, всяк плывущий, в поток войди.
Как в слове «река», перекачивается звук,
и донные камни взбивают сугроб воды.

Холмы без деревьев, селенья на берегах.
На окна лачуг наверху огни
поблескивали. И поблескивал пережат
моими очками, но выловить не могли.

Течение усилилось или гребец ослаб?
Метафору дальше развей: мол, рука судьбы
в рукав, слишком узкий, тычется, рвет обшлаг.
Когда не веслом, то хоть зреньем меня снабди.

72

Потребность всё видеть, когда не изменишь курс,
запомнилась — зряшное зрение напряжет
внезапный резерв...
Как инструктор входил во вкус:
еще впереди сам обрыв, tandemный прыжок.

...Как вера-слепуха сдала, на краю застряв,
в пространстве увязнув (не воздух, а желатин),
и как поводырь ее — зрячий животный страх
за край заглянул и увидел: уже летим.

Помню побочное: фильм про джедая,
голос ди-джея, мельчанье дождя.
Помню, что жили, «вот-вот» ожидая.
И что успеть, говорила, должна.

Что, завернувшись в мое одеяло
вместо халата, ни свет ни заря
что-то подчеркивала, выделяла
в толстом учебнике, наспех зубря.

И — с новосельем тянули, пока не
стало казаться, что некого звать
(или что некуда). Зренье боками
чувствует вещи, но в руки не взять.

Будто прицельное «вот» раздвоилось
и растворилось в пернатом «вот-вот».
Или синица в руке раздавилась
(помню, твердил про «синицу» весь год).

73

Стало быть, новая жизнь начиналась,
как начинается то, что и так
существовало всегда, — вычленялась.
Чтобы отсрочить, подводишь итог.

Что там в итоге? Неопределенность
с легкостью перестановки одной
перерастает в непреодоленность.
Кажется проигрышем, западной

память, проросшая в мир адресами.
Знание о том, что потом, отними,
как фотографии часть отрезали,
чтоб получились на ней одни мы.

С улицы — воздух погасшего неба;
свет, мимолетно из тьмы извлечен,

фарным лучом нарастает в окне, по
спящей фигуре проводит лучом.

Не шевельнется ни волос, ни мышца.
Вот неподвижность во всей наготе.
Где оно, то, чего ждешь и боишься?
Ближе и ближе. Притом что — нигде.

Уже исполнен весь репертуар,
блок песен от романсов до Рамонсов.
Листок с анонсом втопан в тротуар,
и на ближайший месяц нет анонсов.

Осталось настояться на траве,
раскопегарить в горле блюз матерый,
как тот Армстронг, который — на трубе.
To take one step, как — на луне который.

Продуть мозги, как говорил Славчан,
дитя подполья рэйверских кунсткамер,
названивавший девкам по ночам,
общавшийся с короткими гудками.

В подвальных парниках, сатива, зрей.
Я знаю, стоит подтолкнуть легонько,
и этот мир уносится быстрее,
чем тот Армстронг, который — в велогонках.

75

Чушь в голове и тишь над головой.
Темна производящая причина
в отсутствие причины целевой.
Что кроме слов (и музыки)? Бренчи на

электролире. Горло раздерем
репертуаром телефонных песен.
Подвал, где мы ютились вшестером,
еще не пуст, еще для смерти тесен.

ПРИСУТСТВИЕ

Там, где вата — разновидность снега,
или дождь, который из фольги,
целый день идет в квартире недо-
убранной (прибрались, как могли);

где часов песочных полудрема
(перекочевавших от родни),
будто время — в форме палиндрома —
покрути в руках, переверни...

И на законный тополь пялься:
кольца паутины меж ветвей,
как гигантский отпечаток пальца.
Там, где темень...

А сейчас — светлей
и спокойней, кажется, интимней;
пятый, что ли, чайник вскипяти,
потому что некуда идти мне
из гостей, не хочется идти.

Там, где спать детей кладут, воюя:
чем скорей уснете, тем скорей
Дед Мороз придет (еще в июле
ждали, но теперь — вот-вот),
согрей
все, что есть, дыханьем...

Непрерывность
жизни, не иссякшей до сих пор,
как в посуду жидкость, набери в нас
и комком гортанным закупорь.

Опыт называнья, выбор тем из
личного пространства, все дела...
В смысле, что поэзия, как термос, —
вещь для удержания тепла.

Потому что дальше — вряд ли больше.
Кажется, отсутствием богат
личный опыт, но была любовь же
посильней, чем в фильмах напрокат,

и взяла на время под опеку
эти вещи, вату и фольгу,
слитного Dasein'a подоплеку
или холст (без подписи в углу),

на котором зренье различает
скрип дверей, бесследный шарк подошв —
там, где «взгляд снаружи» означает,
что вовнутрь уже не попадешь.

СОДЕРЖАНИЕ

об авторе	5
«В последние годы...» (С. Гандлевский)	7
Стихи Александра Стесина (Б. Кенжиев)	8

I

2001–2005

«Дождь пройдет, не истопчет травы...»	13
«Я впишусь в эту осень, к стене прислонившись спиной...»	14
«Когда причаливают лодку харонову...»	15
«Одноклассник Джеф Б., самопровозглашенный битник...»	16
ПАНК-РОК	17
«В джинсах-шароварах, в кофте с капюшоном...»	19
«Целлофановый куль, как упавшее облако...»	20
«Постою на улице, покурю...»	21
«За хорошее поведение...»	22
«Зашкурит ветер сухойейный...»	23
ДВЕ ВАРИАЦИИ	24
«Дверь, прилагательную к косяку...»	25
«Средь немых вилок и тарелок...»	26
«Так давай же делить пополам...»	27
«Без песен, ибо музыка сильнее...»	28
«Это так из яичницы желтый глаз...»	29
«Дед прошел до Берлина войну...»	30
НЕКРОЛОГ	31
«Просыпается страх, и глаза велики...»	32
ИРЛАНТИДА	33
«Так наступают времена глагола «быть»...»	34
«Вспомнить проникшего света каемку...»	35
«Когда, спустив последнюю деньгу...»	36
ДВЕ КОЛЫБЕЛЬНЫХ	37
«Птицы летят над Хутонгом по весне...»	38
«О том, что, когда будет поздно, пойму...»	39
12.09.92.	40
«Вспыхивал очаг...»	40
ЧАСТУШЕЧНОЕ	42
«Как согласный отзвук и гласный звук...»	43
REUNION	44
ИЗ РОБЕРТА КРИЛИ	45

II
2006—2009

«В день последний, если знать наперед...»	51
«Только во сне ключевой материал закрепляется...»	52
«Когда придет черед попасть...»	53
«Раскрывается целиком...»	54
«Вот “книжный полк”: Декарта, Канта, Конта...»	55
«Килевая качка веры, за предел...»	56
БАЙКАЛ	57
«Она говорит: “Тяжело, а ему тяжелей”...»	59
«Вспомню: некто с шестого, выгуливавший с утра...»	60
«Как минимум, те «джингл беллс» в начале...»	61
ТРИПТИХ	62
«Фотопленка и видеолента...»	64
«Это живут и отходят ко сну...»	65
БЛЮЗ НА СЕН-МАРКЕ	67
БУБЕН	68
«Как ждешь салюта по вечерам...»	70
«Покидая место, обомри...»	71
ХВИДТА	72
«Помню побочное: фильм про джедая...»	73
«Уже исполнен весь репертуар...»	75
ПРИСУТСТВИЕ	76

Книги поэтической серии «Русского Гулливера»

- Л. Иванова(Андрукович). «В море одна волна»
А. Аркатова. «Знаки препинания»
С. Афлатуни. «Пейзаж с отрезанным ухом»
И. Булатовский. «Стихи на время»
Е. Васильева. «Настала белая птица»
И. Вишневецкий. «Первоснежье»
Г. Власов. «Музыка по проводам»
Г. Лоран. «Первое слово съела корова»
Д. Григорьев. «Другой фотограф»
Л. Григорьева. «Сновидение в саду»
А. Давыдов. «Французская поэзия...»
Д. Драгилев. «Все предметы любви»
И. Жуков. «Готфрид бульонский»
В. Губайловский. «Судьба человека»
В. Земских. «Кажется не равно»
И. Кучеров. «Стихотворения»
А. Ливри. «Посмертная публикация»
В. Месяц. «Не приходи вовремя»
В. Месяц. «Безумный рыбак»
А. Мирзаев. «Дерево времени»
К. Омар. «Каблограмма»
Ю. Орлицкий. «Верлибры и иное»
К. Рубахин. «Самовывоз»
С. Соколкин. «Я жду вас потом»
Ю. Соловьев. «Убежище»
Д. Строцев. «Бутылки света»
А. Тавров. «Зима Ахашвероша»
Ф. Тебризи. «Черное солнце эросов»
Л. Ходынская. «Маскарад близнецов»
Н. Черных. «Похвала бессоннице»
Ф. Чечик. «Алтын»
М. Шатуновский. «Сверхмотивация»
К. Латыфич. «Человек в интерьере»

Александр Стесин

ЧАСЫ ПРИЁМА

Поэтическая серия «Русского Гулливера»

Руководитель проекта Вадим Месяц

Главный редактор серии Андрей Тавров

Макет и верстка Валерий Земских

В оформлении использованы рисунки

Giovanni Battista Braccelli

«Русский Гулливер»

тел. +7 495 159-00-59

www.gulliverus.ru

russian_gulliver@mail.ru

Подписано к печати 29.01.2010. Формат 140 × 200.

Бумага офсетная. Гарнитура NewtonC.

Печать офсетная. Тираж 300 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Cherry Pie»

112114, г. Москва, 2-й Кожевниковский пер., 12